



СОМЕРСЕТ
МОЭМ



Луна и грош



Роман



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)
М74

Серия «Зарубежная классика»

W. Somerset Maugham
THE MOON AND SIXPENCE

Перевод с английского Н. Ман

Компьютерный дизайн Ю. Мардановой

Печатается с разрешения The Royal Literary Fund
и литературных агентств AP Watt Limited и Synopsis.

Подписано в печать 17.01.18. Формат 84x108^{1/32}.
Усл. печ. л. 13,44. Доп. тираж 2000 экз. Заказ №

Моэм, Сомерсет

М74 Луна и грош : роман / Сомерсет Моэм; [пер. с англ.
Н. Ман]. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 249, [7] с. —
(Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-063038-7

Потрясающая история художника, бросившего все ради своей
мечты.

Его страсть — свобода.

Его жизнь — творчество.

Его рай — экзотический остров Полинезии.

А его прошлое — лишь эскиз к самой величайшей его работе,
в которой слилось возвышенное и земное, «луна» и «грош».

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

© The Royal Literary Fund, 1919
© Перевод. Н. Ман, наследники, 2009
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Глава первая

Когда я познакомился с Чарлзом Стриклендом, мне, по правде говоря, и в голову не пришло, что он какой-то необыкновенный человек. А сейчас вряд ли кто станет отрицать его величие. Я имею в виду не величие удачливого политика или прославленного полководца, ибо оно относится скорее к месту, занимаемому человеком, чем к нему самому, и перемена обстоятельств нередко низводит это величие до весьма скромных размеров. Премьер-министр вне своего министерства сплошь и рядом оказывается болтливym фанфароном, а генерал без армии — всего-навсего пошловатым провинциальным львом. Величие Чарлза Стрикленда было подлинным величием. Вам может не нравиться его искусство, но равнодушны вы к нему не останетесь. Оно вас поражает, приковывает к себе. Прошли времена, когда оно было предметом насмешки, и теперь уже не считается признаком эксцентричности отстаивать его или извращенностью — его превозносить. Недостатки, ему свойственные, признаны необходимым дополнением его достоинств. Правда, идут еще споры о месте этого художника в искусстве, и весьма вероятно, что славословия его почитателей столь же безосновательны, как и пренебрежительные отзывы хулителей. Одно несомненно — это творение гения. Мне думается, что самое интересное в искус-

стве — личность художника, и если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок. Веласкес как художник был, вероятно, выше Эль Греко, но к нему привыкаешь и уже не так восхищаешься им, тогда как чувственный и трагический критянин открывает нам вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант своим искусством, возвышенным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство; но это варварское удовлетворение, оно сродни половому инстинкту, ибо он отдает вам еще и самого себя. Его тайна увлекательна, как детективный роман. Это загадка, которую не разгадать, все равно как загадку вселенной. Самая незначительная из работ Стрикленда свидетельствует о личности художника — своеобразной, сложной, мученической. Это-то и не оставляет равнодушными к его картинам даже тех, кому они не по вкусу, и это же пробудило столь острый интерес к его жизни, к особенностям его характера.

Со дня смерти Стрикленда не прошло и четырех лет, когда Морис Гюре опубликовал в «Меркюр де Франс» статью, которая спасла от забвения этого художника. По тропе, проложенной Гюре, устремились с бóльшим или меньшим рвением многие известные литераторы: уже долгое время ни к одному критику во Франции так не прислушивались, да, и правда, его доводы не могли не произвести впечатление; они казались экстравагантными, но последующие критические работы подтвердили его мнение, и слава Чарлза Стрикленда с тех пор зиждется на фундаменте, заложеном этим французом.

То, как забрезжила эта слава, пожалуй, один из самых романтических эпизодов в истории искусства. Но я не собираюсь заниматься разбором искусства Чарлза Стрикленда или лишь постольку, поскольку оно характеризует его личность. Я не могу согласиться с художниками, спесиво утверждающими, что не-

посвященный обязательно ничего не смыслит в живописи и должен откликаться на нее только молчанием или чековой книжкой. Нелепейшее заблуждение — почитать искусство за ремесло, до конца понятное только ремесленнику. Искусство — это манифестация чувств, а чувство говорит общепринятым языком. Согласен я только с тем, что критика, лишенная практического понимания технологии искусства, редко высказывает сколько-нибудь значительные суждения, а мое невежество в живописи беспредельно. По счастью, мне нет надобности пускаться в подобную авантюру, так как мой друг мистер Эдуард Леггат, талантливый писатель и превосходный художник, исчерпывающе проанализировал творчество Стрикленда в своей небольшой книжке*, которую я бы назвал образцом изящного стиля, культивируемого во Франции со значительно бóльшим успехом, нежели в Англии.

Морис Гюре в своей знаменитой статье дал жизнеописание Стрикленда, рассчитанное на то, чтобы возбудить в публике интерес и любопытство. Одержимый бескорыстной страстью к искусству, он стремился привлечь внимание истинных знатоков к таланту, необыкновенно своеобразному, но был слишком хорошим журналистом, чтобы не знать, что «чисто человеческий интерес» способствует скорейшему достижению этой цели. И когда те, кто некогда встречался со Стриклендом, — писатели, знавшие его в Лондоне, художники, сидевшие с ним бок о бок в кафе на Монмартре, — к своему удивлению, открыли, что тот, кто жил среди них и кого они принимали за жалкого неудачника, — подлинный гений, в журналы Франции и Америки хлынул поток статей. Эти воспоминания и восхваления, подливая масла в огонь,

* Леггат, Эдуард. Современный художник. Заметки о творчестве Чарлза Стрикленда. Изд-во Мартина Зекера, 1917. — *Примеч. авт.*

не удовлетворяли любопытства публики, а только еще больше его разжигали. Тема была благодарная, и усердный Вейтбрехт-Ротгольц в своей внушительной монографии* привел уже длинный список высказываний о Стрикленде.

В человеке заложена способность к мифотворчеству. Поэтому люди, алчно впитывая в себя ошеломляющие или таинственные рассказы о жизни тех, кто выделились из среды себе подобных, творят легенду и сами же проникаются фанатической верой в нее. Это бунт романтики против заурядности жизни.

Человек, о котором сложена легенда, получает паспорт на бессмертие. Иронический философ усмехнется при мысли, что человечество благоговейно хранит память о сэре Уолтере Рэли, водрузившем английский флаг в до того неведомых землях, не за этот подвиг, а за то, что он бросил свой плащ под ноги королеве-девственнице. Чарлз Стрикленд жил в безвестности. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому писавшие о нем старались всевозможными домыслами пополнить свои скудные воспоминания, хотя и в том малом, что было о нем известно, нашлось бы довольно материала для романтического повествования. Много в его жизни было странного и страшного, натура у него была неистовая, судьба обходилась с ним безжалостно. И легенда о нем мало-помалу обросла такими подробностями, что разумный историк никогда не отважился бы на нее посягнуть.

Но преподобный Роберт Стрикленд не был разумным историком. Он писал биографию своего отца**, видимо, лишь затем, чтобы «разъяснить некоторые получившие хождение неточности», касающиеся вто-

* Вейтбрехт-Ротгольц, Гуго, доктор философии. Карл Стрикленд. Его жизнь и искусство. Швингель и Ганиш, Лейпциг, 1914. — *Примеч. авт.*

** Стрикленд Роберт. Стрикленд. Человек и его труд. Уильям Хайнеман, 1913. — *Примеч. авт.*

рой половины его жизни и «причинившие немало горя людям, живым еще и поныне». Конечно, многое из того, что рассказывалось о жизни Стрикленда, не могло не шокировать почтенное семейство. Я от души забавлялся, читая труд Стрикленда-сына, и меня это даже радовало, ибо он был крайне сер и скучен. Роберт Стрикленд нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии. Мысленно я уже видел лиловые епископские чулки на его мускулистых икрах. Это была затея смелая, но рискованная. Легенда немало способствовала росту славы его отца, ибо одних влекло к искусству Стрикленда отвращение, которое они испытывали к нему как к личности, других — сострадание, которое им внушала его гибель, а посему благонамеренные усилия сына странным образом охладили пыл почитателей отца. Не случайно же «Самаритянка»*, одна из значительнейших работ Стрикленда, после дискуссии, вызванной опубликованием новой биографии, стоила на 235 фунтов дешевле, чем девять месяцев назад, когда ее купил известный коллекционер, вскоре внезапно скончавшийся, отчего картина и пошла опять с молотка.

Возможно, что Стриклендову искусству не достало бы своеобразия и могучей притягательной силы,

* Эта картина описана в каталоге «Кристи» следующим образом: «Обнаженная женщина, уроженка островов Товарищества, лежит на берегу ручья на фоне тропического пейзажа с пальмами, бананами и т. д.»; 60 дюймов × 48 дюймов. — *Примеч. авт.*

чтобы оправиться от такого удара, если бы человечество, приверженное к мифу, с досадой не отбросило версии, посягнувшей на наше пристрастие к необычному, тем более что вскоре вышла в свет работа доктора Вейтбрехта-Ротгольца, рассеявшая все горестные сомнения любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротголец принадлежит к школе историков, которая не только принимает на веру, что человеческая натура насквозь порочна, но старается еще больше очернить ее. И конечно, представители этой школы доставляют куда больше удовольствия читателям, чем коварные историки, предпочитающие выводить людей недюжинных, овечьих дымкой романтики в качестве образцов семейной добродетели. Меня, например, очень огорчила бы мысль, что Антония и Клеопатру не связывало ничего, кроме экономических интересов. И, право, понадобились бы необычайно убедительные доказательства, чтобы заставить меня поверить, будто Тиберий был не менее благонамеренным монархом, чем король Георг V.

Доктор Вейтбрехт-Ротголец в таких выражениях расправился с добродетельнейшей биографией, вышедшей из-под пера его преподавателя Роберта Стрикленда, что, право же, становилось жаль злополучного пастыря. Его деликатность была объявлена лицемерием, его уклончивое многословие — сплошным враньем, его умолчания — предательством. На основании мелких погрешностей против истины, достойных порицания у писателя, но вполне простительных сыну, вся англосаксонская раса разносилась в пух и прах за ханжество, глупость, претенциозность, коварство и мошеннические проделки. Я лично считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда для опровержения слухов о «неладах» между его отцом и матерью сослался на письмо Чарлза Стрикленда из Парижа, в котором тот называл ее «достойной жен-

щиной», ибо доктор Вейтбрехт-Ротгольц раздобыл и опубликовал факсимиле этого письма, в котором черным по белому стояло: «Черт бы побрал мою жену. Она достойная женщина. Но я бы предпочел, чтобы она уже была в аду». Надо сказать, что церковь во времена своего величия поступала с неугодными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц был пламенным поклонником Чарлза Стрикленда, и читателю не грозила опасность, что он будет всеми способами его обелять. Кроме того, Вейтбрехт-Ротгольц умел безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий. Психопатолог в той же мере, что и искусствовед, он отлично разбирался в мире подсознательного. Ни одному мистика не удавалось лучше прозреть скрытый смысл в обыденном. Мистик видит несказанное, психопатолог — то, о чем не говорят. Это было увлекательное занятие — следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя. Он захлебывался от восторга, когда ему удавалось вытащить на свет Божий еще один пример жестокости или низости, и ликовал, как инквизитор, отправивший на костер еретика, когда какая-нибудь давно позабытая история подрывала сыновний пиетет его преподобия Роберта Стрикленда. Трудолюбие его достойно изумления. Ни одна мелочь не ускользнула от него, и мы можем быть уверены, что если Чарлз Стрикленд когда-нибудь не заплатил по счету прачечной, то этот счет будет приведен *in extenso**, а если ему случилось не отдать взятые займы полкроны, то уж ни одна деталь этого преступного правонарушения не будет упущена.

* Полностью (*лат.*).

Глава вторая

Раз так много написано о Чарлзе Стрикленде, то стоит ли еще и мне писать о нем? Памятник художнику — его творения. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: впервые я встретился с ним до того, как он стал художником, и нередко виделся с ним в Париже, где ему жилось так трудно. И все же я никогда не написал бы воспоминаний о нем, если бы случайности войны не забросили меня на Таити. Там, как известно, провел он свои последние годы, и там я познакомился с людьми, которые близко знали его. Таким образом, мне представилась возможность пролить свет на ту пору его трагической жизни, которая оставалась сравнительно темной. Если Стрикленд, как многие считают, и вправду великий художник, то, разумеется, интересно послушать рассказы тех, кто изо дня в день встречался с ним. Чего бы мы не дали теперь за воспоминания человека, знавшего Эль Греко не хуже, чем я Чарлза Стрикленда?

Впрочем, я не уверен, что все эти оговорки так уж нужны. Не помню, какой мудрец советовал людям во имя душевного равновесия дважды в день проделывать то, что им неприятно; лично я в точности выполняю это предписание, ибо каждый день встаю и каждый день ложусь в постель. Но, будучи по натуре склонным к аскетизму, я еженедельно изнуряю свою плоть еще более жестоким способом, а именно: читаю литературное приложение к «Таймс».

Поистине это душеспасительная епитимья — размышлять об огромном количестве книг, вышедших в свет, о сладостных надеждах, которые возлагают на них авторы, и о судьбе, ожидающей эти книги. Много ли шансов у отдельной книги пробить себе дорогу в этой сутолоке? А если ей даже сужден успех, то ведь ненадолго. Один Бог знает, какое страдание перенес

автор, какой горький опыт остался у него за плечами, какие сердечные боли терзали его, и все лишь для того, чтобы его книга часок-другой поразвлекала случайного читателя или помогла ему разогнать дорожную скуку. А ведь, если судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, авторами вложено в них немало мыслей, а некоторые — плод неустанного труда целой жизни. Из всего этого я делаю вывод, что удовлетворения писатель должен искать только в самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь равнодушным ко всему привходящему — к хуле и хвалу, к успеху и провалу.

Но вместе с войной пришло новое отношение к вещам. Молодежь поклонилась богам, в наше время неведомым, и теперь уже ясно видно направление, по которому двинутся те, что будут жить после нас. Младшее поколение, неутомное и сознающее свою силу, уже не стучится в двери — оно ворвалось и уселось на наши места. Воздух сотрясается от их крика. Старцы подражают повадкам молодежи и силятся уверить себя, что их время еще не прошло. Они шумят заодно с юнцами, но из их ртов вырывается не воинственный клич, а жалобный писк; они похожи на старых распутниц, с помощью румян и пудры старающихся вернуть себе былую юность. Более мудрые с достоинством идут своей дорогой. В их сдержанной улыбке проглядывает снисходительная насмешка. Они помнят, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли предшествующее, уже усталое поколение, и предвидят, что нынешним бойким факельщикам вскоре тоже придется уступить свое место. Последнего слова не существует. Новый Завет был уже стар, когда Ниневия возносила к небу свое величие. Смелые слова, которые кажутся столь новыми тому, кто их произносит, были, и почти с теми же интонациями, произнесены уже сотни раз. Маятник раскачива-

ется взад и вперед. Движение неизменно совершается по кругу.

Бывает, что человек зажился и из времени, в котором ему принадлежало определенное место, попал в чужое время, — тогда это одна из забавнейших сцен в человеческой комедии. Ну кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А он был знаменитый поэт в свое время, и человечество признавало его гений с единодушием, в наше более сложное время уже немислимым. Он был выучеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы рифмованными двустихиями. Но разразилась Французская революция, затем наполеоновские войны, и поэты запели новые песни. Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными двустихиями. Надо думать, он читал стихи юнцов, учинивших такой переполох в мире, и считал их вздором. Конечно, многое в этих стихах и было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, несколько поэм Колриджа и в еще большей степени Шелли открыли человечеству ранее неведомые и обширные области духа. Мистер Крабб был глуп как баран: он продолжал писать нравоучительные истории рифмованными двустихиями. Я прочитываю иногда то, что пишут молодые. Может быть, более пылкий Китс и более возвышенный Шелли уже выпустили в свет новые творения, которые навек запомнит благодарное человечество. Не знаю. Я восхищаюсь тщательностью, с которой они отделяют то, что выходит у них из-под пера, — юность эта так закончена, что говорить об обещаниях, конечно, уже не приходится. Я дивлюсь совершенству их стиля; но все их словесные богатства (сразу видно, что в детстве они заглядывали в «Словарь» Роже) ничего не говорят мне. На мой взгляд, они знают слишком много и чувствуют слишком поверхностно; я не терплю сердечности, с которой они похлопывают меня по спине, и взвол-

нованности, с которой бросаются мне на грудь. Их страсть кажется мне худосочной, их мечты — скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду писать нравоучительные истории рифмованными двустихиями. Но я был бы трижды дурак, если бы делал это не только для собственного развлечения.

Глава третья

Но все это между прочим.

Я был очень молод, когда написал свою первую книгу. По счастливой случайности она привлекла к себе внимание, и различные люди стали искать знакомства со мной.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературном мире Лондона той поры, когда я, робкий и взволнованный, ступил в его пределы. Давно уже я не бывал в Лондоне, и если романы точно описывают характерные его черты, то, значит, многое там изменилось. И кварталы, в которых главным образом протекает литературная жизнь, теперь иные. Хэмпстед, Ноттинг-Хилл-гейт, Гай-стрит и Кенсингтон уступили место Челси и Блумсбери. В те времена писатель молоде сорока лет привлекал к себе внимание, теперь писатели старше двадцати пяти лет — комические фигуры. Тогда мы конфузились своих чувств, и страх показаться смешным смягчал проявления самонадеянности. Не думаю, чтобы тогдашняя богема очень уж заботилась о строгости нравов, но я не помню и такой неразборчивости, какая, видимо, процветает теперь. Мы не считали себя лицемерами, если покров молчания прикрывал наши безрассудства. Называть вещи своими именами у нас не считалось обязательным, да и женщины в ту пору еще не научились самостоятельности.